

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ПРЕДДВЕРИИ НЕОБЫЧАЙНОГО

Я, никто

Каждому выпадает что-то одно.

Две тысячи лет назад один налоговый инспектор и еще трое, разных профессий видели удивительную жизнь, удивительную смерть, воскрешение — и написали об этом. Полторы тысячи лет спустя Сандро Боттичелли успел увидеть Симонетту Веспуччи, Прекрасную Даму Флоренции, умершую в двадцать три года, — и нарисовал ее в образе Венеры, Мадонны, Весны. Еще спустя пятьсот лет бабушка десятиклассницы Ангелины видела в революционном Саратове, как из поезда на платформу с криками «Долой стыд!» выскакивают голые юноши и девушки — и рассказала об этом внучке.

А я слышала и записала истории о необычайном. Сама не знаю, много это или мало — но вот мне, в моем времени и в моей стране, выпало именно это. Рассказы о встречах с необычайным.

Кто я? Не Матфей, не Боттичелли. И даже не бабушка Ангелины

Я — никто.

И имени у меня нет.

Зайдите на любое совещание, лекцию, вечеринку. Представьте себе дамские посиделки в кафе — шампанское, снятые под столом туфли, сигареты с ободком от помады. Или закрытое партсоборание, педсовет — красные пятна на лицах, яд и елей в голосах. Или сонную конференцию с портретами на стенах. Вглядитесь: видите в дальнем углу не то девушку, не то старушку с невнятными волосами и вечно открытым, как при аденоидах, ртом? Это я.

Я пишу; записываю; протоколирую — все, что угодно: заседания, психотренинги, даже попойки. Мое царство — это стол с обгрызанными углами и железными ножками, в последнем ряду. Зато нет перегородки, и можно вытянуть ноги. Это потом уже, в «Веселых Мизингерах», я научилась работать как угодно — скрестив ноги по-турецки, задрав коленки к носу, сидя на корточках. В «Мизингерах» было в самом деле весело. Но я отвлеклась. Я часто отвлекаюсь.

Моя страна — это тетрадь в четкую клеточку (ненавижу клеточку размытую, а также чистые листы А-4 и тетради в косую линейку, хотя скорому письму начинала учиться именно с них). Мой язык — это каляки-маляки, детские каракули, полноразмерный слэш и овал левого оборота. Мое сознание — там, где шарик соприкасается с бумагой, скользит, отрывается, снова скользит-летит (лишь бы не застревал и не царапал, это зависит и от бумаги, и от шарика. Кстати, всегда предпочитала хорошие шариковые, настоящие «Биро», а не перьевые и не гелевые, что бы там ни говорили учебники по стенографии. А специальный карандаш — «острый, тонкий и медленно стирающийся» — вообще терпеть не могу).

Вот, кстати, слово и прозвучало; ух, ненавижу! Куда бы ни пришла, сразу говорю: стенографисткой не называть, а то припишу такое, что не отмоетесь. Плохое слово; не мое; от него пахнет старыми бумагами, пылью, желтым клеем с соской на бутылочке. Стенографистки — это те, кто в тридцатые записывал доклады и допросы; недаром их главный опус с фашистским названием ГЕСС вышел в 33-м.

И еще стенографистки — это такие яркие, накрашенные, с вызовом. А я — никто. Меня

замечают последней в любом помещении. Первыми замечают других – записных балагуров, местных красавиц; начальство.

На самом деле, я и есть эти другие. Я – это тяжелые духи и перхоть на пиджаках, запах подмышек и галстуки, вечно сбитые набок. Уберите их – уберите шарканье стульев, астматический свист, внушительный бас докладчика – и меня не будет. Я оживаю только в «Собраться в расширенном составе» и «Поехали-с-орехами», в «Как известно всем присутствующим» и «Здрав буде, боярин!». Через меня слова превращаются в иероглифы и пиктограммы (которые, кстати, я сажусь расшифровывать сразу после собраний, иначе забудется контекст). Говоря высокопарно, через меня слова уходят в вечность.

На самом деле, ни в какую вечность они не уходят. Они спокойненько ложатся в папки с тесемочками, а те — в шкафы из ДСП, что крошится, как опилки. Не думайте, что я — певец повседневности; что моя миссия — запечатлеть обычную жизнь обычных людей, из исчезнувшей страны развитого социализма. Не ждите, что сейчас через меня зазвучат голоса забытых и безъязыких — домашних портних, неталантливых учителей, матерей-одиночек. Маленькие люди, сами по себе — неинтересны. Почти все, мною записанное, — хлам.

К тому же, мне нельзя верить. Я — отнюдь не беспристрастный хронист. Я проспала все первые годы моей работы.

Сама не знаю, как такое возможно. При моей-то профессии. Где нужно ловить, не отключаться, быть начеку. А я...

Говорят, у эскимосов больше ста слов для обозначения снега. Снег, падающий спокойно, снег на ветру, клейкий снег и так далее. А у меня — ну, сто-не сто, но с дюжину наберется. Для этого... занятия. Я помню их все. Они и сейчас со мной.

Во-первых, есть дымка. Прозрачная вуаль, которой, как в начале «Теней» в «Баядерке», занавешивается все происходящее. Во-вторых, есть «скольжение-соскальзывание», причем трех видов. Порой это как с горки на саночках, порой точно поймать «белую воду», надломленную часть волны, на серф-борде, а порой как полет на дельтаплане с небольшой высоты, но при диагональном ветре. Затем есть провалы-провальчики, на пару секунд. И еще «дамские обморочки»; и «военные затемнения». И страшноватый «медведь» — грузный, мохнатый и давящий.

Но и в «затемнении», и в «провальчике», и в «дымке» - я не отрывала шарика от бумаги. Я записывала все, что слышу в зале и все, что творилось в голове.

И еще: не подумайте, что я — сонная тетеря, флегма: отнюдь. Я... делала это нарочно. Садилась за обгрызенный стол, брала ручку и — в паузу между фразами докладчика сама подталкивала себя к соскальзыванию, в сторону и вниз. И ждала, когда начнутся картинки. Путешествия. Приключения.

Зачем? Я засыпала не только от скуки, не только из-за папок с тесемками, сбитых набок галстуков, пыльных портретов на стенах. Это не было уходом, не было бегством. Там, внутри снов, была... надежда. Я... чего-то искала.

Да хватит притворяться-то! Я прекрасно знаю, чего я искала. Пора назвать вещи своими именами. Я думала тогда, что сны, вплетенные в действительность, — прямая и быстрая дорога к *необычному*. Которого я ждала, сколько себя помню. Так что история начинается задолго до того, как я овладела навыками быстрописания. Нам нужно вернуться назад — в детство, в юность.

Мое открытие необычайного

Все началось с китайцев. В юности я вовсе не мечтала сидеть в углу и записывать всякую чушь. Я думала, что буду учиться на Восточном факультете и стану синологом — специалистом по древнему Китаю.

Но вместо того, чтобы нанять репетиторов и готовиться к вступительным экзаменам, я представляла себе, что уже поступила. Играла в востоковеда. Пыталась читать китайскую, вьетнамскую, корейскую классику — стихи, романы, пьесы. Открывала книги и засыпала над ними; любила спать уже тогда.

Особенно забористыми были тома издательства «Восточная литература», я покупала их в «Академкниге» на Литейном. Угольно-черного цвета, на обложке иероглифы, а внутри — комментариев больше, чем самого текста. Буддийские трактаты, исторические записки; «Каталог гор и морей». Все темно, нечитаемо — как тогда говорили, «непрорубно». Кроме вот этих вот... быличек.

О быличках — русских, не китайских — я к тому времени знала. С седьмого класса, когда проходили «Бежин луг». Где крестьянские дети, вокруг костра, рассказывают истории: про встречи с домовым, с русалкой, с утопленником. «Бяша, бяша!» — говорит там баран почтальону. Я тогда же еще быличек нарыла — они были ничего, не то, что сказки. Русские народные сказки я вообще терпеть не могла. Василиса Премудрая, Иван-царевич — вот это все.

А былички эти были правдивые истории о встречах с другим миром. Например, как парень поженится на баннице, девушке из бани. А полудник — кто бы это ни был — задавил молодку, заснувшую на меже. А домовый повадился ходить к вдовой женщине, и она родила моток шерсти. А покойник вернулся к свояку попросить прощения и вернуть долг. Ну, и так далее; все достоверно, случилось недавно — в таком-то году, таком-то месяце. С соседом, свекром, снохой. В ближней деревне — или в дальней, за болотами, за рекой.

Только у китайцев было все другое.

Во-первых, другой язык. В русских быличках, пусть и записанных, чувствовался говор, диалект, нелитературная речь. У китайцев же самые неприличные подробности, самые народно-комические происшествия были написаны языком изящным, точным, с отсылками к классическим текстам. Встретится порой иероглиф «низкого стиля» (переводчик морщится, в комментариях извиняется) — и вновь элегантная, рафинированная проза.

И мир китайских «быличек» был другим. Не леса и болота, а город, пригород — сложный, сложно устроенный, разноцветный. Праздники, огромные толпы народу, светильники и фейерверки, катание на лодках и представления акробатов — на таком фоне разворачивались события. «Винные башни», запахи приправ в воздухе, ночная жизнь — гуляки, гадалки, певички и иные дамы. Ночные рынки, где можно купить редких птиц, древние рукописи и шелковые платья с узорами. При свете дня, правда, купленный товар может оказаться совсем не тем, чем чудился ночью... Но и в прозаичности, в скудных красках будней — все сочно, ярко, даже с избытком; слишком остро, чересчур пряно. Так мне видится отсюда, из сегодняшней петербургской зимы. Может, я что-то перевираю, допридумываю. Но одно я помню точно: в десятом классе мир бумажных фонарей, алого шелка и изогнутых мостиков был мне ближе, родней — да что там говорить, *узнаваемей*, чем все лешие, домовые, овины и овраги, вместе взятые!

Далеко не все там было узорчато-сказочным, далеко не всегда праздник с

фейерверками. Герой китайских рассказов жил в мире нервном, депрессивном, тревожном. Долги, нищета, несправедные судьи, ничтожно-жалкие правители. Безысходность. Самый главный, самый чудесный сборник рассказов о необычайном был написан в темное для Китая время — страну только что захватили маньчжуры, кочевники с севера.

У автора сборника — он так и называется, «Рассказы о необычайном» — было два имени, Ляо Чжай и Пу-Сунлин. И для меня это были два разных человека. Автор и его герой.

Первый из них, Ляо Чжай, знал все. Знал, чем закончится каждый рассказ — и какой смысл скрывается в развязке. О, он был великим мастером, этот Ляо Чжай.

А Пу-Сунлин ничего не знал. Он был бедным студентом и в начале каждого рассказа шел в уездный центр сдавать экзамены. И не подозревал, *что* ждет его впереди.

Ну, конечно, это я так выдумала: писатель Ляо Чжай и его несчастный герой Пу-Сунлин. На самом деле это два имени одного человека. Но верно и то: писатель списал своего героя с самого себя. Так же, как тот, Ляо Чжай был вечным студентом, неудачником — и умер, так и не сдав никакого экзамена.

Экзамены эти были посерьезней моих вступительных. Которые, кстати, я тоже не сдала. Правда, к тому времени я уже расхотела стать синологом и не очень расстроилась. А китайские экзамены — они были совсем другие. Это был ад. Пытка, растянутая на всю жизнь.

В Старом Китае у человека было два пути. Или ты станешь госслужащим, чиновником — или никем. Будешь выращивать рис, ловить рыбу. Проживешь всю жизнь внизу; станешь грязью, травой. А большая жизнь — страна, история, судьба — пройдет мимо тебя. Над тобой.

Стать чиновником... В других странах, в Европе, чтобы подняться наверх, требовалось благородное происхождение, связи, иногда деньги. А в Китае надо было сдавать экзамены. Писать толкование древних текстов. Учить сами тексты, тысячи строчек, наизусть. Вроде бы прогрессивно — в теории, любой способный простолюдин мог стать министром. На деле же вся страна находилась в состоянии постоянной экзаменационной сессии. Зубрила. Готовилась.

Только мужчины, конечно. Женщины вообще не считались. Жена — это такое неграмотное, полуживотное существо, из-за маленьких ножек не умеющее ходить, не покидающее женской половины дома, покорное, бессловесное... Без груди — потому что грудь с детства стягивают бинтами. И даже чтобы жениться на такой, нужно накопить денег. А чтобы накопить денег, нужно стать чиновником. А для этого сдать экзамены.

Пу-Сунлин родился не в столице — в маленьком уездном городе. Сдавать экзамены он ездил в уездный центр. Там его ждали надутые, спесивые, злобные экзаменаторы — сами в свое время прошедшие сквозь эту мясорубку. И сейчас они «рубят» Пу-Сунлина и ему подобных

за малейшую пометку; даже за «недостойный внешний вид»

Если бы Пу-Сунлин сдал в уезде, его бы ждали экзамены в центре округа, затем — провинции; и, наконец, в столице. С каждым разом обстановка становилась бы все напыщеннее, прибывало бы красного цвета, флагов, золота. В столице — на должность министра! — вопросы задавал бы сам император... Только Пу-Сунлин и до окружного центра-то никогда не добирался. Проваливался в уезде — и возвращался домой.

Готовиться к следующему туру.

Так и прошла вся жизнь: одни и те же тексты — учил и заваливал по многу раз, с перерывами в несколько лет. Под конец уже седой, голова трясется, пальцы едва держат кисточку — а все мечтает: «Вот сдам уездные, куплю себе дом, заведу семью. Буду носить особую шапку, люди узнают про меня — я перестану быть никем...». Так и не женился. Я в десятом классе придумала ему невесту — она все это время тоже ждет, стареет, надеется: «Вот выйду замуж, стану хозяйкой женской половины дома — буду подавать тапочки, варить рис; и молчать благопристойно.». Но пока что ее суженому приходится зарабатывать частными уроками, готовить своих соперников — молодых, наглых, беспринципных...

А в свободное время он записывает эти истории. «Рассказы о необычном».

Необычное! Да, рядом с миром зубрежки, надежд, недоедания, дисциплины, с миром прямого, правильного, тоскливого и безысходного пути всегда существовал другой мир. Где живет единорог, ступающий так мягко, что ни одна травинка не шевельнется; у него разноцветная шкура, и он знает и видит всех оборотней и духов, что бродят по могилам. И сами эти бесприютные духи, вечно голодные, злые, печальные; и духи камней, оборачивающиеся юношей, и карлики с вывернутой назад ступней, и демоны без подбородка, с телом, покрытым шерстью. И восемь бессмертных даосов — один из них держит веер, воскрешающий мертвых, другой едет на чудесном муле, а третий несет в руках персики, дарующие вечную жизнь. И какие-то древние, мощные, страшные существа — драконы, повелители рек, могущие наслать наводнение или принести удачу, славу, богатство. И, разумеется, лисицы — смелые, опасные, похотливые, умные, умеющие превратиться в прекрасную женщину и заморочить человеку голову.

Заморочить человека? Вступить с ним в контакт? Ну, конечно: все эти существа отлично видят, что происходит в мире людей, они переживают, сердятся, хотят отомстить за что-то, погубить — но и помочь, сделать человеку подарок. Порой сами ждут помощи. Наконец, влюбляются!

И вот в один прекрасный момент невидимая стенка прорывается; и происходит встреча с необычным. Студент-неудачник видит мертвую девушку, и влюбляется, и сочетается браком прямо в могиле — а сам думает, что это роскошный дворец. Покойный ученый приходит к коллеге и просит издать свои сочинения. Взамен он приносит напиток из страны бессмертия, где питаются росой и ветром. А охотники случайно попадают в ту самую страну, возвращаются домой — и видят своих праправнуков, потому что прошло более ста лет.

Отдельно я запомнила три истории.

Как одна девушка искупалась в чудесном источнике, сама не зная того — и зачала ребенка от воды.

Как в уплату за службу юноше заплатили горсткой бобов, и он расстроился, а потом оказалось, что это бобы бессмертия.

И, наконец, как еще одна девушка вышла замуж за змея, обернувшегося юношей, и пошла жить в змеиную нору, где мебель и посуда — все из змеиной кожи, а она до поры до времени ничего не замечала.

И еще рассказы про лисицу — самые любимые.

Бедна, скудна, несчастна любовная жизнь героев Ляо Чжая. Порой он даже женат — на той самой бессловесной, покорной, не стоящей упоминания. Но чаще всего он только

надеется стать хотя бы самым низким чиновником — и получить хоть какую-нибудь жену. И тут появляется лисица. И разом, без предварительных условий и подсчетов, дарит человеку все — прямо и решительно, погружая его в незаслуженное и абсолютное счастье. Влюбляет его в себя, любит сама — утонченная, обольстительная красавица, прекрасный собеседник, тонко чувствующий музыку и стихи. Да, игра смертельно опасна; да, лиса может иссушить, «вынуть семя жизни» (до сих пор не понимаю до конца, что это значит). Скорей всего, она погубит — и отправится на поиски новой жертвы. Ее мотивы непонятны, темны, поступки непредсказуемы — но тем с большей радостью устремляется студент навстречу, быть может, собственной гибели!

А бывает и лис-мужчина. Это ученый — блестяще образованный, но не начетчик, не как напыщенные экзаменаторы в столице. Он видит то, что скрыто, и читает в душе человека. Беседа с ним — острое, неслыханное удовольствие, острее и ярче, чем с женщиной-лисой. Лис является к престарелому студенту в самый тяжелый час — когда понятно, что экзаменов больше не будет, что чиновником стать не удастся, что бессмысленно дальше учить древние книги. Лис приходит и остается на всю ночь. А дальше...

Знаете, что самое удивительное? Мы никогда не знаем, что было дальше. На встрече с чудесным рассказ обрывается. Что стало со студентом, выбравшимся из могилы невесты? Каким вырос ребенок, зачатый от чудесного источника? Как жили охотники вместе со своими праправнуками? Неизвестно. Неважно. Я дословно помню конец одного из рассказов: «После этой встречи студент ушел в горы, а что с ним стало дальше — никто не знает.»

Вот так же внезапно кончилось и мое увлечение Востоком. Ушли из моей жизни пионовые фонари, лотосы, драконы — весь разноцветный, волшебный мир рассказов Ляо Чжая. Осталось только какое-то общее, глубинное знание — как все должно быть. Вернее, четыре. Четыре знания; четыре принципа — если хотите, «четыре благородные истины». Мои, не Гаутамы.

Первая: необычайное существует. Нет, не лисы, не даосы — другое. Я тогда еще не знала, какое. Но знала, что оно есть. Невидимое. Необычайное.

Только не надо кивать и говорить: «Да-да, конечно, существует», — я могу вцепиться в лицо. Броситься когтями со страницы, как кошка. Оно действительно существует. Рядом с вами.

Второе: *история* — единица и жизни, и рассказа о жизни. Нет никакого романа, никакого сплошного полотна. Нету биографии, судьбы. Есть нитка жемчуга, жемчужины — а между ними нестоящее, мусор, ничто. Похоже на пульсирование света во тьме: встреча с необычайным — пустота, мрак — и новая встреча.

По крайней мере, это то, что подвластно мне. Что было подвластно Ляо Чжаю. Он не оставил историю прихода маньчжуров, хроники становления их династии — он оставил много маленьких, не связанных между собой *историй*.

Третье: чтобы рассказать историю, не надо скороговорки, говора. Даже если вы слышали ее в таком виде. Максимум, что можно, — один-другой иероглиф «низкого стиля». В остальном язык рассказа должен быть строгим, элегантным.

Я не знаю, почему это так. Я вышла с этим знанием из моего домашнего «востфака». Рассказы о необычайном — не былички. Ляо Чжай не делал уступок народному сказу, и я не буду.

И, наконец, четвертое. Судьбы людей не важны. Участь главного героя — неинтересна. Тем не менее, быт неизбежен. От тягот, неудач, болезней, бытовых подробностей не уйти. Скорее всего, благодаря их особенному сочетанию и произошла встреча с необычным. Свари монах рисовую, а не просяную кашу — не увидел бы студент свой сон. Не пойдя Митя в баню, а прими душ дома — не было бы у него лучшего в жизни секса. Поэтому нужно писать подробно, и про кашу, и про баню, и про остальную жизнь героя до этого.

Но на встрече с необычным рассказ заканчивается.

Или на осознании; на прозрении.

«Оп-па! Вот откуда у меня дитя под сердцем!».

Или: «Ух ты! Все это время со мной были пилюли вечной жизни! И я теперь могу не бояться смерти!».

Или же, наконец: «А-а-а-а! Я же в змеином доме! И все вокруг змеиное — змеиная кровать, змеиная тарелка, а у мужа — желтый змеиный глаз!».

Но потом — пустота. Судьба героя не важна. Его большая жизнь, сама по себе. «Он ушел в горы, и что с ним было дальше — никто не знает».

Такие «четыре истины». Только в юности, после школы, я и знала, и не знала их одновременно. Их не было у меня в голове, в сформулированном виде, в словах. Они были где-то ниже, на уровне солнечного сплетения — неясные, произнесенные. В голове же была тревога, маята. Беспокойство. Я не представляла, как я выживу, чем буду зарабатывать себе на жизнь.

И уж тем более я не знала, что через ту незаметную работу, которую я в конце концов себе выбрала — но не сразу, а в далеком-далеком будущем, когда времена в стране изменятся несколько раз — я услышу все три истории. Про чудесный источник, про волшебные бобы и про змеиный дом. И несколько других. И совсем мне было невдомек, что уже тогда, в десятом классе, я все понимала правильно.